



В. В. ВЕЙДЛЕ

Петербургские открытки

Рассматриваю открытки, петербургские открытки. Не теперешние, — старые, тех времен, когда я под стол пешком ходил, или, вскинув ранец на плечо, с Малой Конюшенной на Мойку бегал. Невского без двух уродов — новеньких, хвастливых — дома Елисеевых и дома Зингера не помню, но Вавельберга дом — злосчастная пометь дворца Дожей и палаццо Питти — строился при мне. А рядом с ним, пониже, без причуд — четырехэтажный темнокрасный — «Балабуха. Сухое киевское варенье». В младенчестве моем я и всякое называл балабухой.

На одной открытке — конка (ездил я и на конке); на других — уже трамвай. Гостиный двор почему-то кажется приземистым и захолустным. Адмиралтейство за деревьями вдали — другое дело. Но игла его в лесах. Какой же это год, когда ее чинили? Городовой. Два извозчика. С твердыми знаками «Ресторан Лейнер», и напротив английский магазин, где покупалось то черное глицериновое мыло, которым моюсь и теперь. Все то же оно, с недушистым — тем и приятным — запахом. Теперь, как и тогда. А он, мой город? Все тот же? Сорок с лишним лет минуло с тех пор, как я прощался с ним.

Ответа не получу. Но ведь и спрашиваю некстати. Разве эти открытки на него похожи? Их много, тут не один Невский. Есть и дворцы — Михайловский, Мраморный, Зимний; кариатиды Эрмитажа, Исаакий, Летний сад, Александринский театр. Чудесная театральная улица. Только все это не то. Не та улица, не тот сад. Купол не тот. Не то объятие колоннад перед Казанским собором. Это почему же? Плохие старые снимки? Лубочная порой раскраска? Нет, дело не в этом. Те три дома — не от того ли я с них и начал? — похожи, но ведь эта мешанина и «стиль модерн». Это в Петербурге не — Петербург; а все другое, хоть и узнаваемо, да мертво; дразнит память и не оживает. Ходил я по

этим самым улицам, мимо этих самых зданий и домов, но видел не их. Биржа за рекой, Петропавловская крепость, Смольный... Рассматриваю. Они все на месте. Хорошо построено. Пощупать нельзя, но то, вот именно, и плохо, что как бы можно пощупать. Когда я в Петербурге глядел на них, я и видел их, и снились они мне. Петербург — не штукатурка, не камни. Петербург — это видение.

* * *

Больше ста лет прошло с тех пор, как Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» назвал его «самым фантастическим городом, с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Фантастичность означает в данном случае нереальность, «невсамделишность», призрачность, а в основе всего этого — парадоксальность, искусственность; черты эти восходят к самому основанию города и присущи восприятию его отнюдь не одним только Достоевским. Не история Петербурга фантастична — Петербург фантастичен оттого, что порожден фантазией, прихотью Петра; призрачен, потому что создан его произволом. Парадоксален замысел новой столицы, выбор места для нее — где-то с краю, да еще и на болоте. Парадоксальна совершенная нерусскость облика, особенно первоначального облика ее.

Парадоксально само ее имя.

Имя это голландское: Санкт-Питербурх. Так оно в первые времена и произносилось, и писалось. Оттого в простонародном обличье своем и стало оно не Петером, а Питером. Переименование столицы в 1914 году было трижды нелепым. Во-первых, мы тогда с Голландией не воевали; во-вторых, Петр окрестил город не своим именем, а именем святого, которое ему самому дано было при крещении, так что по-русски соответствовало бы этому наименованию «Святопетровск», а не «Петроград»; в-третьих, даже если бы Голландия объявила нам войну, и если бы Российская держава уже тогда, а не через несколько лет после того решила отречься от христианства, переименовывать столицу все же было бы нелепо¹.

Дело Петра было сделано, отменять его, возвращаться в Московскую Русь никто ведь тогда и не собирался. Для России, если не для Руси, имя Петербург стало русским именем. Но в 1703 году парадокс был и в самом деле парадоксом, и по-голландски названная, новая столица в самом деле могла казаться русским

людям чужеземной выдумкой, наваждением, неживучим сонным маревом.

Такой она и казалась — и когда основана была, и когда стала столицей уже не в замысле, а на деле, да еще и много позже... Недаром перешептывались: «Петербургу быть пусту». Недаром три года всего после смерти Петра недавние его льстецы, бояре, которым обкарнал он бороды и кафтаны, внушили его внуку промолвить: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», да и двинулись со всем скарбом назад в Москву с остзейских берегов, стали уже и забывать о них, пока через пять лет курляндская Анна их к тем берегам не возвратила.

Еще ведь и памятно было, что все на тех [же] берегах началось с наводнения и цинги; знали, во что обошлись те каналы, мостовые и на заморский лад возведенные палаты, которые, по словам очевидца, еще в двадцатом году тряслись и качались, когда карета проезжала мимо них. Людей Петр не берег, как, впрочем, и себя; пекся о будущем, а не о настоящем. «Парадиз» его строился насильно, каторжным и убийственным трудом. Справедливо Ключевский писал: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте». В первое же лето множество их перемерло от цинги и поноса; а под осень австрийский посланник доносил, что две тысячи раненых и больных утонуло в первом наводнении. О втором три года спустя Петр писал Меншикову: «Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не точию мужики, но и бабы».

Столь забавное зрелище видел он не в последний раз: в его царствование столица перенесла одиннадцать наводнений. Пожарами посещалась она тоже исправно. В десятом году сгорел Гостиный двор на Петербургской стороне; в восемнадцатом — Сенат и военная Коллегия. Опасность пожаров была тем более велика, что каменные строения высились лишь вдоль рек; все, что окаймлялось их фасадами, было деревянным. Но и бревен не хватало, не только камня. Все привозилось издалека. Для острастки воров виселицы стояли возле складов.

Таково было начало.

* * *

«Люблю тебя, Петра творенье!». Кто бы мог это сказать в те годы, кроме самого Петра? Он все задумал, он всем руководил, все выполнялось по введенному им регламенту, отступить от ко-

того значило подвергнуться строгой каре. В регламентации — секрет Петербурга, корень его отличия от других русских, да и от тогдашних западных столиц. Улицы проводились по ранжиру, дома воздвигались по установленным свыше образцам. Деревянные предписывалось обшивать тесом и раскрашивать под кирпич, чтоб смотрелись понарядней. Неладно построенные каменные — «по архитектуре поправлять». На крыльцах всех тех, что тянулись вдоль будущей Адмиралтейской и Дворцовой набережных — поставить чугунные балясы. В 21-м году Петр нашел, что здания бойни возле устья Мойки сделаны «весьма худо», и распорядился вправить их «в линию регулярно, подобно, якобы жилое строение и с фальшивыми окнами, и для лучшего вида расписать красками». Заботился он обо всем, всякие беды старался предотвратить. Велено было мох, употреблявшийся для конопаченья стен, обваривать кипятком, чтобы в домах не заводились тараканы. Как ни тягостно было для многих это вечное «этак, а не так», это «регулярно», это «в линию», все же и в «лучшем виде» при этом не забывалось. Хоть и много надо было в широко планированном и наспех застраиваемом городе фальшивых окон — в прямом и переносном смысле слова — хоть и обживаться по-настоящему начали в нем, вероятно, лишь ко времени Елизаветы, а все-таки прав был птенец Петрова гнезда Неплюев², когда сказал: «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими». И то же самое мог бы он сказать об основанной Петром столице.

«Люблю тебя»... При Екатерине, при Александре многие говорили это в мыслях Петербургу, а у кого любви к нему не было, тот все же вторил беспрекословно восторгам иностранцев. Перемена тут наметилась в те годы, когда он раз и навсегда был прославлен Пушкиным. Скоро Герцен напишет: «Любить Петербург нельзя». Хомяков еще за год до «Медного всадника» назвал город «гранитною пустыней», а красоту его «мертвой»; она и начнет скоро умирать, отчасти оттого, что перестанут ее видеть, отчасти же потому, что примутся ее уродовать. Регламент был ей нужен, этой особой петербургской красоте, этому новейшему из великолепных городов Европы. До смерти лучшего, может быть, из его зодчих, Росси, его еще «поправляли по архитектуре»; но когда архитектура приказала долго жить, то и на «правку» махнули рукой.

В 1843 году опубликован был указ, разрешавший домовладельцам строить дома и красить их, как заблагорассудится. Последствия столь неуместно «либеральной» меры императора Николая не замедлили сказаться, но самые тяжкие из них при-

шлись уже на следующее царствование. Едва ли не тягчайшим была застройка уродливыми и разношерстными домами набережной между двумя флигелями Адмиралтейства, в результате продажи морским министерством соответственного участка в 1871 году; к тому времени Петербургом давно уже перестали любоваться. Тургенев в очень непривлекательном виде описал его в «Призраках». Писемский в «Тысяче душ» (1858) называет его «могильным», а одного из героев своей книги заставляет говорить о нем, вздохнув: «Город без свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности». Иван Аксаков в письме Достоевскому призывает его, ради той же народности, но уже безо всяких вздохов, «плюнуть Петербургу в лицо и ненавидеть его всеми силами души». Достоевский, пожалуй, был бы и не прочь, старался, но не то что возненавидеть, он и разлюбить его до конца не смог. Думал он о нем много, чувствовал его острее, чем кто бы то ни было, даже чем новое поколение после его смерти, которое вновь полюбило его город любовью искренней, нежной, но все-таки другой, чересчур рассудительной, хоть и со слезой, слишком уже знающей, слишком книжной...

Не прошло и года после «Зимних заметок», как он (в «Записках из подполья») вернулся к своей формуле и ее исправил. «Петербург — самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», — так пишет он теперь, и теперь с ним трудно не согласиться. Отвлеченный? Да. Планированный, регулярный — «Твоих оград узор чугунный»; «Громады стройные»; «Однообразная красивость»... Какая ни на есть, а все же «люблю тебя!» Умышленный? Верно. Но ведь умысел все-таки удался! Чего только город не пережил, — нынче население его, нужно думать, на девять десятых новое, другое; и все же — так передают, и я этому верю, — лицо его сохранилось, мыслят и чувствуют в нем совсем не так, как в остальной России, как в Москве. А различие это — «на нем все тесто взошло», оно — неотъемлемая, драгоценная черта всей послепетровской, послепушкинской России. «Бесмертная ошибка», сказал об основании Петербурга Карамзин; но зачем же называть ошибкой такой верный выбор, такой оправданный произвол?

Без этой двойственности скучна была бы Россия. Без железного этого корсета расплылись бы ее телеса. Будь одна у нее московская литература, калачами бы она нас кормила да блинами. Не было бы четкости Пушкина, если бы до нее не было четкости Петра. Пусть и впредь будет так. Пусть еще подтянет Москву Петербург — не вожжами, не уздой, а улыбкой и вполголоса:

опомнись, оправься, не заносись, проверь разумом разрыхлевшие твои чувства. Русью быть хорошо, но еще лучше Россией. И — сей город отчество наше привел в сравнение с прочими.

Верю. Хочу верить — бессмертен Петербург. Не ошибкою бессмертен. Под чужим именем жив. Хоть и заштатная столица, а столица. Правда, а не выдумка. И все же — нет Петербурга, не тот он Петербург, если не двоится он, если в тот же миг не действительность и мечта; и твердо на сваях стоит и рассеивается миражом. Умышленный и отвлеченный этот город, он и впрямь какой-то невесомый и сквозной. Оттого-то и есть, должно быть, в нашей любви, даже в пушкинской любви к нему что-то бесплотное — от виденья больше, чем от прикосновенья. Оттого-то и открытки на столе передо мной — даже арка Главного Штаба, хоть и пеленали меня тут, хоть и жил я потом десять лет по соседству, даже «всадник бронзовый на недвижимом скакуне» — нет, картинки эти, не нужно мне их.

Глядел, разглядывал, — и будет. Бог с ними. Старый приятель их принес, хотел подарить... С благодарностью возвращаю. Не потому, что уж слишком был бы я ими растревожен: когда прощался, знал твердо, что прощаюсь навсегда. Но потому, что не глядя, глаз не отрывая, я вижу его ясней внутри себя. Теперь мне рукой провести по его камням не хочется. Одно неосязаемое вижу; оно нежней, но и сильнее того, что можно осязать. Зингерова дома не вижу. Нет ни «Балабухи», ни вербных базаров, ни масляничных балаганов. Зато нет и домов, что въелись в Адмиралтейство. Только оно, его игла. Нет и ни того, и ни другого «града», только Петербург. Небо над его садами и дворцами, набережная, ширь Невы...

С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему...³

Так прощался Блок с Пушкинским домом, Пушкиным, Петербургом.

Так прощусь с ним и я. В последний раз.

1969

